

Михаил Петрович Арцыбашев

Миллионы



Михаил Арцыбашев

Миллионы

«Public Domain»

1912

Арцыбашев М. П.

Миллионы / М. П. Арцыбашев — «Public Domain», 1912

«Между темным небом и морем, как дымка, стоял ровный свет луны, кругло и ясно вставшей над горизонтом. На деревьях сада, точно рой откуда-то налетевших огненных колибри, качались и прыгали на невидимых проволоках маленькие разноцветные фонарики. С нелепо освещенной эстрады, где черный паяц-капельмейстер, потешно взмахивая руками и фалдочками, порывался куда-то взлететь, разлетались во все стороны отчеканенные скрипичные звуки, взвизгивали, смеялись и пели, легкими узорными хороводами вылетая из-под темных деревьев на открытый, замороженный лунным светом морской берег. Там танцевали они перед лицом светлой луны, как легкие эльфы, незримые и таинственные в своей призрачной минутной жизни»

© Арцыбашев М. П., 1912

© Public Domain, 1912

Содержание

I	5
II	9
III	15
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Михаил Петрович Арцыбашев

Миллионы

Она не покупается золотом и не приобретается она на вес серебра.
Иов, XV

I

Между темным небом и морем, как дымка, стоял ровный свет луны, кругло и ясно вставшей над горизонтом. На деревьях сада, точно рой откуда-то налетевших огненных колибри, качались и прыгали на невидимых проволоках маленькие разноцветные фонарики. С нелепо освещенной эстрады, где черный паяц-капельмейстер, потешно взмахивая руками и фалдочками, порывался куда-то взлететь, разлетались во все стороны отчеканенные скрипичные звуки, взвизгивали, смеялись и пели, легкими узорными хороводами вылетая из-под темных деревьев на открытый, замороженный лунным светом морской берег. Там танцевали они перед лицом светлой луны, как легкие эльфы, незримые и таинственные в своей призрачной минутной жизни.

Скрестив мощные руки на холодном мраморе столика, Мижув молча и угрюмо посматривал по сторонам.

Когда он взглядывал на эстраду, все казалось ему суетливо мелким и бестолково шумным, а когда поворачивался в сторону моря, становилось величаво спокойно, задумчиво свободно, как сама высокая светлая луна.

Крутая русая борода его и массивные плечи возбуждали представление о страшной силе и твердой воле, но глаза Мижуева были нездоровые, углубленные, какие бывают у обреченных на смерть.

За соседним столиком кутила компания господ в белых шляпах, ухарски проломленных на боку, и нарядных дам, с резко красивыми лицами и неестественными, подрисованными глазами. Все они громко смеялись, чокались узенькими, как стрекозы, рюмочками, и не переставая острили, при каждой остроте повышая голоса и оглядываясь на Мижуева, причем и у мужчин, и у женщин было мелькающее, выжидательно ищущее выражение. А неподалеку, склонившись вперед, точно нежа под мышками свои белые салфетки, стояли лакеи и не спускали глаз с Мижуева, как будто собирались по первому его знаку бежать и стремглав бросаться в море.

Мижув и видел все, и не замечал. Когда-то это забавляло его, но теперь было только докучно и так привычно, как воздух, от которого не уйдешь и уходить не надо.

– Теодор, отчего ты такой скучный сегодня? – спрашивала его Мария Сергеевна, робко дотрагиваясь пальчиком до крутого локтя.

На ней было вызывающее красивое платье, чуть-чуть открывающее ноги, а на темных пышных волосах качались нежно-розовые цветы шляпы, грустно гармонировавшие с ее подругиными щеками, печально мерцающими глазами и страстно окрашенными губами.

Мижув медленно, как больной вол, повернул к ней свою упрямую голову и промолчал.

Она была так же возбуждающе красива, как и прежде, и так же сквозь черное кружево светилось ее необыкновенно выхоленное тело. При взгляде на нее у всякого мужчины рождалось острое и требовательное представление о каких-то невозможных сказочных наслаждениях. Но то, что она утратила свое прежнее имя – Марии Сергеевны – и стала называться Мэри, и то, что перестала называть его Федей и вы, а стала звать Теодором и ты, и то, что

она бросила любимого мужа и стала жить с Мижуевым, убило в нем бывшую еще так недавно благоговейную страсть и возбуждало по временам холодную необъяснимую злобу.

Даже тогда, когда, возбужденный ее голым покорным телом, уже робко просящим ласки, Мижуев целовал и мял ее со звериной жестокостью, он уже не чувствовал былой радости, а испытывал только плоское жестокое удовольствие, придумывая неестественные положения, делая больно и унижительно.

Казалось, что он мстил ей за что-то, и видно было, что сам страдал какой-то невысказываемой мукой.

И Мария Сергеевна понимала, отчего это, и потому у нее стали печальны и робки глаза, как будто не смеявшие молить о пощаде.

– Пойдем, – коротко сказал Мижуев, поймав остро любопытные взгляды в их сторону, и встал.

Она тотчас же торопливо поднялась и пошла с ним рядом, по всегдашней своей милой неловкости, которая когда-то до слез умиляла Мижуева, путаясь в кружевах юбки, теряя то платок, то сумочку и забавно пугаясь этого.

Они вышли на берег, где властвовали темное море да светлая луна, и на самом конце мостков сели на скамью.

Впереди и с боков, со всех сторон было море, и блестящая вода бурно крутила лунный столб. Какая-то бесконечная мелодия-шум, плеск и глухие удары о мол, – среди которой все время что-то звенело тоненьким хрустальным и слышным, и как будто неслышным голоском, непрестанно тянулась над безбрежным движущимся простором и трогала таинственные грустные струны, будя воспоминания и безотчетное отчаяние в самой глубине души. Порой налетал упругий ветер, и тогда невидимые брызги, заставляя вздрагивать, покрывали лицо и руки мелкой холодной пылью.

Мижуев смотрел на лунный столб, крутящийся в металлически темной воде, и молчал. Как всегда, когда он ночью смотрел в глубину, какое-то тоскливое чувство чуть-чуть шевелилось в нем. Было оно еле заметно и трудно уловимо, но за ним вдруг забывалось все, что окружало его. И становилось пусто и темно.

– Я хотела поговорить с тобою, Теодор, – заговорила Мария Сергеевна, и с первого слова было слышно, что она боится, как бы он не рассердился, даже не выслушав ее.

Мижуев молчал, и казалось, что он не слышал ее слабого голоса за шумом и плеском прокатившейся под мостками волны. Далеко, пока видно было при луне, легла вдоль берега белая полоса пены и растаяла, как снег, а за ней уже надвигалась, бурля и вырастая, новая волна.

Мария Сергеевна полными никому не видных слез глазами посмотрела на Мижуева и, судорожно рванув платок, встала.

– Это невыносимо! – сдавленным слабым голосом сказала она, чувствуя, что вся дрожит и от унижения, и от холодного ветра. – За что ты меня мучаешь?

Мижуев упорно, не глядя на нее, пожал широкими плечами...

Мария Сергеевна замолчала, продолжая рвать свой платок и дрожа всем телом, казавшимся удивительно слабым и изящным на фоне огромного волнующегося простора.

– Я не могу больше... – заговорила она быстро, все возвышая голос. – Ты не имеешь права презирать меня!.. Не имеешь права мучить и унижать!.. Если я и не устояла перед твоими миллионами, как ты говоришь...

– Я этого никогда не говорил! – угрюмо возразил Мижуев, упрямо глядя в лунный столб, сверкающий в волнах миллиардами прыгающих голубых звезд и сливающийся на горизонте в таинственное светлое, резко отрезанное от темного неба сказочное царство.

Опять Мария Сергеевна внезапно замолчала, сбита и раздавленная мучительным недоумением. Все существо ее знало, что он постоянно говорил это, а между тем память не могла

подсказать ни одного похожего слова. И она только чувствовала, что погибает в холодном, пустом и неотвратимом, где она – такая слабая и беспомощная, что – даже не знает, что сказать, как защищаться и против чего.

– Но ты так думаешь... я знаю... А если это даже и так, то ведь... Ты сам хотел этого... Ну, пусть, пусть! – схватившись обеими руками за виски, с отчаянием заговорила Мария Сергеевна. – Но какую цену я заплатила за эти миллионы! Они у меня душу отняли... я научилась презирать себя, как последнюю тварь... и что-нибудь одно: или... Как хочешь, но я не могу больше, не могу. Я...

Она опять потеряла слова и только отчаянным, бессильным взглядом оглянулась на темную страшную воду. Руки ее шевелились, и губы дрожали.

– Если ты сама презираешь себя, как последнюю тварь, то как же мне относиться к тебе? – вдруг неожиданно спросил Мижув, не спуская блестящих глаз с воды.

– А! – потерянно вскрикнула Мария Сергеевна и, упустив сумочку и платок, которые сейчас же снесло в море, закрыла лицо руками и быстро пошла прочь, почти побежала, путаясь в длинном, подхваченном ветром платье. Тоненькая женская фигура неверно заколыхалась в пустом ветреном пространстве, над темной, неустанно катящейся на берег водой.

Мижув проводил глазами маленький белый кусочек материи, который высоко поднялся над гребнем вспененной волны и вдруг сразу исчез во мраке упавшей холодной бездны.

Что-то теплое шевельнулось у него в душе, и, не выражая его словами даже самому себе, Мижув встал и быстро догнал Марию Сергеевну.

Маленькие покатые плечи ее были сжаты и над ними смутно белел тонкий наклон бледной от лунного света шеи. Услышав его шаги, она сейчас же остановилась, но не подняла головы и стояла по-прежнему, закрыв лицо руками и опустив большую светлую шляпу. Такая маленькая, изящная и жалкая до слез.

– Ну, полно, Мэ... руся... – путая ее прежнее и теперешнее имена, с мгновенно выросшей жгуче-жалостливой лаской, сказал Мижув и обнял ее за плечи. – Прости меня... Я не хотел тебя обидеть!

Он ждал, что она капризно оттолкнет его, вырвет руки, станет чужой и холодной, и страшно боялся этого. Ему показалось, что тогда он станет совсем одиноким. Но она только прижалась головой к его груди и робко подняла лицо навстречу его губам, беспокойно и вопросительно глядя большими от лунного света и слез глазами. И в мокрых глазах, и в уголках страдальчески улыбающихся губ Мижув увидел покорное, обрадованно прощающее выражение, какое бывает у побитых и потом приласканных маленьких зверьков и детей.

И мгновенное чувство приятной ему самому теплоты и жалости исчезло, как не бывшее, оставив холодок досады и нарастающего раздражения. Он холодно поцеловал ее в теплые и влажные губы и, слегка отстраняясь, сказал:

– Не капризничай, пожалуйста... Это скучно, наконец... Чего ты хочешь... не понимаю!..

Он помолчал, упрямо глядя в сторону, и прибавил:

– Пора домой!

Как бы желая сказать: прости... может быть, я и не права, не знаю... мне показалось, что меня не любишь и презираешь, а это так невыносимо... – она растерянно улыбнулась и заторопилась. Они пошли рядом молча. Белая холодная луна и непрестанно шумящее море остались позади, а навстречу уже летел рой танцующих звуков. И что-то по-прежнему стояло между ними.

Когда они ехали домой, Мижув ногою ощущал прикосновения ее упругого тела, ускользающего за сухой жесткой материей, видел тонкий, точно нарисованный бледными красками профиль женской головы, понурившейся в какой-то непосильной думе, и спрашивал себя:

– Что же встало между ними – человеком, который столько лет молился на нее, боясь даже думать о ее наготы и ласках, и милой, прекрасной женщиной, которая так любила своего

тихого мужа, так просто, точно старшая сестра, относилась к нему самому, и казалась такой целомудренно чистой, несмотря на то, что была замужем.

II

В ярком солнце золотились берега, и даже море, пенисто-зеленое у набережной и синее, почти лиловое, вдали, казалось, покрыто золотистым блеском. Солнцем и небом дышали дальние горы, и загородные дачи белели по их зеленым скатам, точно разбросанные в траве игрушки.

Яркая курортная толпа, как ручей, огибая полукруглый сквер, двигалась по набережной и текла так изменчиво-пестро, что нельзя было уследить, откуда идут все эти светлые платья, шляпы, ноги, плечи и лица с оживленными глазами. Казалось, что толпа сама увеличивается и растет, точно быстро разрастающаяся гряда живых цветов. Пестрый говор, смех и шорох ярко сплетались над нею и с шумом набегающих на камни волн, быстрым гулом экипажей и четким стуком копыт сливались в одну разноцветную нарядную музыку.

Мария Сергеевна и Мижуев в легкой ялтинской коляске прокатили по набережной, и белый газ, развевающийся на шляпе Марии Сергеевны, быстро замелькал среди лошадиных голов, чинных кучеров и разбегающейся вереницы зонтиков и шляп.

У магазина, за зеркальными стеклами которого, словно нездешние птицы и цветы, пестрели причудливые женские шляпы, коляска мгновенно остановилась, как будто с размаху уткнувшись в невидимое упругое препятствие. Мария Сергеевна, легкая и быстрая, точно ее сдуло ветром, перелетела с подножки экипажа прямо в темную прохладную дверь магазина.

Мижуев тяжело, не глядя по сторонам, сошел на тротуар и поднялся за ней.

Услужливо картавя, шаркая подошвами и улыбаясь ожившими лицами, со всех сторон набежали на Марию Сергеевну приказчики и продавщицы. И одну минуту казалось, что это кучка приветливых, веселых людей, радостно окружавших давножданную, милую подругу. Перевороченные каким-то вихрем, мгновенно раскрылись десятки картонов, и синие, красные, пестрые ленты пересыпали кучу белых шляп, как цветы на снегу.

Только что вышли простенькие матерчатые шляпки «бэбэ» – милая простота веселящейся роскоши – и Марии Сергеевне непременно захотелось купить такую же. Ей казалось, что в этой простенькой шляпке она будет похожа на шаловливую грациозную девочку. – Продавщицы преувеличенно щебетали, приказчики картавили, чтобы походить на французов, в раскрытые двери магазина врывались гудящие звуки и солнечные краски, а Мария Сергеевна, как ребенок, радуясь игре цветов и фасонов, блестела глазами, отказывалась, колебалась, смеялась и все время была в движении, то рассматривая себя во весь рост в большом, то изгибаясь всем телом, чтобы увидеть свой профиль в маленьком зеркале. И в каждой новой шляпке, и с синей, и с красной, и с пестрой лентой на черных волосах ее матово-розовое личико казалось все лучше и моложе.

А Мижуев, отделяясь от шумливой кучки, черным пятном неподвижно сидел возле прилавка и, поставив перед собой палку, грузно сложил на ней массивные руки. Он смотрел сонно, как невыспавшийся больной человек, которому уже не видно и не слышно ни солнца, ни смеха, ни женской красоты – ничего, кроме того медленного и молчаливо-зловещего, что неуклонно и неотступно, шаг за шагом, разрушает жизнь внутри его.

По временам он останавливал свои тяжелые глаза на хорошеньком возбужденном личике Марии Сергеевны и сейчас же отводил их, упираясь неподвижным взглядом в первый попавшийся предмет, в угол прилавка, в пустую картонку, лаковый ботинок приказчика или худые лопатки продавщицы, наивно торчащие из-под кокетливой шелковой кофточки.

– Теодор, посмотри, – я возьму эту... Эта мне, кажется, идет?... Или лучше эту?... Как ты думаешь, посоветуй? – спрашивала Мария Сергеевна, и легкое беспокойство мелькало у нее в голосе и глазах. Ей было легко и весело; вчерашняя безобразная сцена кончилась страстным примирением и уже почти улетела из памяти, спугнутая сознанием своей прелести, солнцем,

шумом и бросанием денег, к которому Мария Сергеевна до сих пор еще не могла привыкнуть. Мрачный вид Мижучева темнил ее радость и смутно пугал, напоминая, что поцелуи и сладострастные ласки только отодвинули, но не решили и не уничтожили того, что уже вошло в их жизнь.

«Неужели это не конец, и опять будут эти невыносимые, безобразные сцены, после которых не хочется жить?..» – где-то в самом краешке боязливой мысли мелькало у нее.

– Так какую?.. Посоветуй! – спрашивала она, и в голосе ее звучала странная нотка тайной мольбы, точно она просила его о пощаде.

– Возьми все... – думая о другом, равнодушно ответил Мижучев.

Она засмеялась, и все приказчики и продавщицы восхищенно улыбнулись. Кто-то даже заржал от восторга перед этой выходкой миллионера.

Мижучев мрачно окинул взглядом смеющиеся лица и нахмурился. Все стали серьезны, и Мижучев, поймав это мгновенное угодливое превращение лиц, насупился еще больше. Дикое желание, так часто приходившее ему в голову, поднялось в нем: захотелось крикнуть на них, толкнуть кого-нибудь ногой, ударить...

«А!.. Вам нравится все, что я ни скажу?.. Хоро-шо-о...» – загорелись у него в мозгу бешеные слова, но он промолчал, уныло и беспомощно опустив глаза.

– Нет, что ж ты так!.. Ты посоветуй! – кокетливо приставала Мария Сергеевна, и Мижучев почувствовал, что пристает она уже только затем, чтобы никто не заметил того, что с паническим страхом она угадывала в нем.

Тогда стало жаль ее, и это согрело Мижучева. Только еще унылее и бессильнее стало в душе.

– Возьми ту, что с синей лентой... Она больше всего идет тебе, – грустно сказал он.

– Разве! – радостно улыбнулась ему Мария Сергеевна.

Она подняла обе руки к голове, и изогнувшаяся спина ее под белой кофточкой вдруг обнаружилась, как голая, мягкая и выпуклая. Тот приказчик, у которого были лаковые ботинки на пуговицах, скользнул по ней робко-похотливым взглядом и вдруг встретился глазами с Мижучевым. Мгновенно он завял, личико его померкло и покрылось жалкой маской угодливости и страха.

«Гад!» – подумал Мижучев, с внезапно вспыхнувшим брезгливым гневом, и тяжело уперся ему в лицо неподвижными глазами.

Приказчик весь съежился и стал как-то тоньше и меньше. Мижучев смотрел, а тот не смел отвести взгляда. Почти целую минуту продолжалась эта странная, жестокая игра, доставлявшая Мижучеву болезненное наслаждение. Видно было, как задрожала коленка приказчика, обтянутая узкими брючками.

«А, впрочем, что ж... – с прежней унылой тоской подумал Мижучев. – Если бы я был приказчиком, а он миллионером, и эта, и другие такие же принадлежали бы ему, а я смотрел бы на них исподтишка, как раб!..» Мижучев отвел глаза. Ему стало противно все: и эта пресмыкающаяся перед ним дрянь, и он сам, похожий на какого-то божка, и эта женщина, вчера оскорбленная грубым словом и готовая броситься в воду, а сегодня опять увлеченная до самозабвения убогой забавой бросания денег.

– Ты скоро?.. Идем... – сказал он, поднимаясь.

– Я готова уже. Я выбрала! – заторопилась Мария Сергеевна. – Вы пришлите эту... нет, нет, вот ту... с голубой! – бросала она, беспокойно оглядываясь на Мижучева, черной массой стоявшего в освещенных дверях.

– Пойдем, посидим в сквере, – сказала она, когда вышли на солнце и со всех сторон охватил их теплый чистый воздух и веселый шум.

– Хорошо, – безразлично согласился Мижучев.

Они уже перешли улицу, лавируя между экипажами, когда кто-то громко окликнул Мижуева.

– Федор Иванович! Подождите!

У тротуара остановился красный, весь блестящий, точно вымытый автомобиль, и из-за трех дам, похожих на букет кружев и цветов, высовывался и махал палевой перчаткой сияющий белоснежный господин.

– Теодор!.. Тебя зовут... Пархоменко... – тронула Мижуева за рукав Мария Сергеевна и за него улыбнулась, кивая головой белоснежному господину.

Пархоменко выскочил из Откинутого кресла и дробно подбежал к Марии Сергеевне, своей белой, пробитой кулаком шляпой высоко отмахнув в воздухе.

– Мария Сергеевна, прелестная!.. А я вас искал по всему городу! – кричал он.

– Разве?

Изогнутая ручка Марии Сергеевны кокетливо прижалась к его губам. Она засмеялась. Дамы в автомобиле кивали ей шляпами, сияющий Пархоменко хохотал, загораживая всем дорогу, автомобиль сверкал, все оглядывались на них. Казалось, что весь город, солнце, горы и цветы засветились, засверкали и засмеялись только для них. Чахоточный поп, еле протащивший мимо свою рясу, позеленевшую, словно от тоски, посмотрел большими блестящими глазами и тоскливо стусевался, точно растаял в блеске и веселье толпы.

В это время прошли мимо молодой человек и какие-то дамы, и молодой человек поспешно, точно боясь пропустить что-то животрепещущее, забормотал своим дамам, показывая одними глазами:

– Это Мижуев и Пархоменко – московские миллионеры!..

– Где Мижуев? Который? – любопытно обернулись дамы.

– Тот, что с дамой... Большой... – куда-то весь порываясь, показывал молодой человек, и три пары возбужденно-любопытных женских глаз уставились на Мижуева.

Мижуев слегка отвернулся, но Пархоменко сияюще оглядел дам и сказал:

– А нас тут уже все знают, Федор Иванович...

– Позвольте пройти, – сказал кто-то, и в надтреснутом голосе Мижуев узнал острую ненависть. Он оглянулся и увидел беловолосого бледного человека в синей рубашке под плохоньким пиджаком. Светлые и, очевидно, добрые его глаза смотрели на Пархоменко с какой-то кроткой злобой.

– Позвольте же пройти, – повторил он уже со страданием в голосе.

Пархоменко окинул его быстрым, пренебрежительным взглядом и небрежно подвинулся.

– Мария Сергеевна, поедemте сегодня в Суук-Су... Мы вчера туда и обратно промчались в два часа... Честное слово!.. Замечательно приятно, честное слово!.. Как птицы!.. Поужинаем там и назад!.. При луне это что-то волшебное, честное слово! – кричал он, весь сияя и, очевидно, с ног до головы радуясь своему существованию.

Но Мария Сергеевна отказывалась, шаловливо и лукаво покачивая своей новой: шляпкой, вправду придававшей ей вид грациозной девочки.

– Мы там только позавчера были!

– Да; но на автомобиле это совершенно особое ощущение. По горам! Вы не можете представить себе, как он легко взлетает с горы на гору... Положительно, такое ощущение, как будто летишь во сне... честное слово!

– Ну, хорошо... это потом. А теперь мне надо пройтись... Пойдемте. Море сегодня удивительное!

Три дамы Пархоменко, все пышные, ленивые блондинки, смеясь и как будто играя, высыпали из автомобиля.

– Федор Иванович, а вы что это такой скучный сегодня? – весь сияя, спрашивал Пархоменко.

– Он теперь хандрит все, – как будто виновато ответила за него Мария Сергеевна и скользнула по лицу Мижуева робким взглядом.

– А вы заставьте его купить автомобиль... Сразу расцветет! – хохотал Пархоменко. – Я теперь от всех бед лечусь автомобилем!.. Честное слово – не шарж!

Дамы вчетвером пошли вперед, приковывая к себе общее внимание: Пархоменко, заряжая всех своим сиянием и уверенной шумливостью, забегал сбоку и не давал никому проходу, а Мижуев тяжко шел сзади. И пока они шли, среди толпы, нарядной и жужжащей, как пригретые солнцем пчелы, Мижуев внимательно и длительно всматривался во встречные лица, как будто искал чего-то.

Им опять встретились и чахоточный попик, и беловолосый человек в синей рубашке. Теперь с ним шел какой-то высокий, худой и серьезный господин. Этого Мижуев узнал, а по нем узнал и беловолосого. Один был известный писатель, другой – еще очень молодой, больной чахоткой поэт.

Писатель скользнул сердитыми глазами и отвернулся. Поэт что-то сказал. И в голосе поэта, и в сердитых глазах писателя было нечто насмешливо-враждебное и бесконечно далекое Мижуеву, Пархоменко и их холено-красивым дамам.

То в блеске солнца, то в легкой тени зонтиков пестро мелькали мужские и женские, красивые и безобразные лица. Их живой калейдоскоп, меняясь каждую минуту, плыл навстречу, и Мижуев с привычным болезненным раздражением упрямо следил за его однообразно-странной игрой: он видел, как все эти безразлично-равнодушные человеческие глаза, мельком скользившие по встречным лицам, вдруг останавливались на нем и мгновенно менялись в выражении тупого любопытства. И это было так привычно и однообразно, что порой Мижуеву казалось, будто у всей этой нарядной толпы одно лицо – плоское, назойливое, до смерти надоевшее ему.

Дамы и Пархоменко хохотали, а Мижуев шел сзади, и чувство привычного одиночества неотступно шло с ним. Все хотелось куда-то уйти, туда, где нет ничего и никого, ни людей, ни солнца, ни шума. Там стать и стоять долго-долго, совсем одному.

Сияющий Пархоменко обернулся и что-то сказал. Какою-то глупость, бесцветную по смыслу, но надоедливо странную явной уверенностью, что все сказанное им будет прекрасно и страшно весело.

«Счастливым идиот! – подумал Мижуев, глядя под ноги, и вдруг почувствовал смутную зависть. Если бы перевести ее на слова, получилась бы бессмыслица: – Ах, если бы я был таким идиотом!.. Тогда и я, с автомобилями, миллионами, содержанками, со всеми людьми, которые не видят меня, а иди робеют, или ненавидят, или льнут к тому, что есть вовсе не я, – был бы счастлив, как он».

– А вот и наш генерал! – закричал Пархоменко. – Генерал, идите сюда! Нам без вас скучно!

Старенький генерал, с широкими красными лампасами и сморщенным розовеньким личиком на тоненькой цыплячьей шее, не прикрытой узенькими седыми бачками, поволакивая ножки, подбежал к ним. Он стал целовать ручки дамам, бессильно, по-стариковски, кокетничая и сияя. Видно было, что он ужасно боится, как бы его не прогнали.

Пархоменко радовался, точно ему принесли забавную любимую игрушку.

– Ну, что, генерал, много ли красивых женщин приехало вечерним парходом? Часто ли трепетало ваше сердце? – хохотал он, вертясь на каблуках перед усевшимися на скамье дамами.

Генерал подобострастно хихикал.

– Вы знаете, Мария Сергеевна, – обратился к ней Пархоменко, и по его румянному лицу видно было, что он готовится сказать что-то необыкновенно остроумное, – генерал каждый вечер ходит на пристань высматривать ту неосторожную, которая доверится ему... Он ведь Дон Жуан, каких мало, честное слово – не шарж!

– А, генерал, а я и не знала, что вы такой опасный! – полным, томным голосом протянула одна из блондинок Пархоменко.

– О, вы его не знаете! – захлебывался Пархоменко. – Каждый вечер ходит... Только, к сожалению, эти, злодейки дамы поступают с ним самым невежливым образом: каждый вечер генерал находит им квартиры, таскает вещи, платит за извозчика, а на другой день, – увы! они ходят по саду с каким-нибудь прапорщиком, а генерал опять плетется к пароходу!.. Честное слово – не шарж!

– Ска-ажите! – протянула роскошная блондинка.

– Вы всегда что-нибудь выдумаете, Павел Алексеевич, – розовея, защищался генерал.

– Да, рассказывайте! Выдумываю! А кто вас поймал три дня тому назад в Джалите с гимназисточкой? А?..

– Да, ей-Богу, Павел Алексеевич, правда... это моя дочь Нюрочка! Что вы, ей-Богу... – покраснел генерал.

– Дочь?.. Знаем мы этих дочерей...

– Право же, дочь... Нюрочка!

– Что Нюрочка, это я верю!.. Да... – начал Пархоменко и, вдруг сощуриив глазки, приостановился, видимо выдерживая паузу перед особо пикантной остротой. – Да и что вы ничего не можете чувствовать, кроме отцовских чувств, пожалуй, возможно!..

Дамы засмеялись, слегка потупившись, с теми странными, скользкими по губам полуулыбками, в которых мерцает какая-то женская тайна.

Генерал хихикал, но нечто болезненное прошло у него по улыбающемуся личику: как будто его Нюрочку оскорбляло это. На одно мгновение ему даже захотелось повернуться и уйти, но он не посмел и только судорожно захихикал.

– Есто прелестно, есто прелестно... – проговорил он, бегая растерянными глазками.

– Генерал, – вдруг еще больше засиял Пархоменко, – отчего вы говорите «есто», а не это?.. Чтобы смешнее было или у вас зуб со свистом?

– Разве я говорю есто? – покраснел старичок.

– Конечно, есто... Вот скажите: э-то!.. Твердо: э-то!

– А разве не все равно? – попробовал увильнуть генерал.

– Далеко не все равно... Это ужасно смешно!.. Честное слово!.. Ну, вот скажите: э-то!

Старичок смеялся, и старческие щеки его розовели.

– Нет, вы скажите! – приставал Пархоменко.

– Е-сто! – с геройским усилием произнес генерал.

Пархоменко от восторга повернулся на каблуках. Дамы засмеялись. Засмеялась и Мария Сергеевна, высоко подняв свой тонкий профиль.

– Это, это, генерал! – кричал Пархоменко.

Его сияющее лицо было полно наслаждения. Казалось, он хотел сказать: «Ну, старый шут, смешнее... Видишь, мне весело... Ну!»

– Вы, генерал, прирожденный комик... Честное слово! – сквозь смех кричал он.

Старичок генерал растерянно улыбался, и розовенькие щечки его блестели беспомощно.

Марии Сергеевне стало жаль старичка, на которого уже оглядывались гуляющие. Она заговорила с ним ласково и нежно, спросила о здоровье и о дочери, девушке-гимназистке, которую несколько минут тому назад встретила в кучке подруг, таких же молодых и веселых, как она сама. Старичок сейчас же растаял под ее лаской и улыбался уже по-другому, старчески ухаживая за ней, как приласканная дряхлая собачонка.

Но Пархоменко опять стал острить и тормозить его. Мижув смотрел на них, и ему было противно и жаль старичка. Он хотел было вступить, но промолчал.

Мимо прошли те же два писателя. Мижув услышал, как из группы молодежи, сидевшей на другой скамье, сказали:

– Смотрите, смотрите... вон Четырев и Марусин.

– Где, где?

Страшно заинтересованные девичьи глаза проводили сутуловатые фигуры писателей, медленно уходивших в пестрой и нарядной толпе, каким-то грустным пятном отделяясь от нее; И Мижув услышал, как в группе молодежи загорелся спор о таланте Четырева.

И как будто именно от этого, вдруг стало ему грустно, скверно и опять потянуло прочь, куда-нибудь, где бы стать одному и стоять долго и одиноко, ничего не видя и не слыша.

III

Только что пришел вечерний пароход, и по ту сторону бухты, разноцветными гирляндами сверкая в темной воде, горели его говорящие огни. С этого берега не видно было людей, и черная масса парохода казалась таинственной, как темное чудище вод, всплывшее к молу. Но издали уже слышался быстрый гул приближающихся экипажей и чувствовалось, что сейчас в веселящийся городок прихлынет целая толпа новых людей, оживленных и обрадованных концом длинного скучного пути.

В этот день Мария Сергеевна вместе с Пархоменко и его дамами уехали в соседний курорт, и Мижув вышел гулять один. Он медленно бродил по набережной, подальше от сквера и курзала, где пестрела легкая вечерняя толпа. Он чувствовал себя так хорошо, как давно не бывало. Безлунный мягкий вечер, убранный прозрачным золотом звезд, и покойный ритмический шум прибоя, чуть пенящегося у берегов, трогали в нем тихие ласковые струны. Подозрительная настороженность, не оставлявшая его все время, как-то побледнела, и на душу нашла тихая, музыкальная печаль. Хотелось быть одному и вспоминать что-нибудь близкое и дорогое.

Задумавшись, Мижув шел по набережной, там, где было пусто и тихо, и легкие нежные мысли медленно вырисовывали перед ним знакомые, полузабытые лица. И с открытыми глазами Мижув, казалось, видел их – неуловимо скользящих в синеве вечернего сумрака среди больших бледных звезд.

И мало-помалу, как по неразрывному кругу, мысли его вернулись к тому времени, когда, приехав из-за границы, измученный угаром бессмысленной жизни и фальшивых людей, он встретился со своим старым другом и его женой, Марией Сергеевной. Мижув был устал, раздражителен и озлоблен до угрюмости. Они пригрели его непривычной простотой отношений, приняли в маленький круг своей светлой уютной жизни, и было много дней и вечеров, полных уюта, веселья и особого очарования от близости прекрасной, милой женщины. Потом возникла тайная любовь – странное влекущее сплетение самого целомудренного уважения и самой бесстыдной требовательной мечты. И странно, как смерть, и радостно, как жизнь, наступил момент, когда в ней дрогнула ответная, еще стыдливая струнка, и вдруг то, что казалось невозможным, о чем нельзя было даже думать, стало близким и обдало жарким огнем женской страсти. А потом все запуталось и стало болезненно-уродливо, как кошмар. Долго тянулась затяжная и, очевидно, бессильная борьба между совестью и нерассуждающим влечением тела к телу. Были яркие просветы бешеного счастья, как тот вечер, когда строгое черное платье вдруг упало, и прекрасная нагая женщина стала покорной и бесстыдной; но счастье утонуло в целом болоте самой унижительной фальши, стыда, невольного предательства и обмана, против воли доходящего до подлости по отношению к человеку, которого они оба любили и уважали. Грязь подступала все выше, выше, к самому горлу, и когда, наконец, стало трудно дышать, произошел короткий и острый разрыв.

Мижув вспомнил, как легко и светло вздохнулось, когда все было так или иначе кончено и открылась новая жизнь. Но прошлое оставило свое тонкое острие, и оно до сих пор ворочалось в закрывшейся ране. Когда прошла первая страсть, тогда стало казаться Мижуву, что произошла страшная, непоправимая ошибка. Те страдания и колебания, которые пережила Мария Сергеевна, стали говорить ему тайным и ядовитым языком, что его роль жалка: эта женщина любила своего мужа, и только его одного, а Мижув, – который был ничем не замечателен, кроме своих денег, – явился простою случайностью. Они жили так просто и бедно, ей так невинно и наивно хотелось веселья и блеска. Только и всего...

– Зачем же тогда были разбиты и исковерканы три жизни? – с ужасом спрашивал себя Мижув.

Униженный и брошенный человек один где-то переживал тайну своей обиды, которую никогда уже нельзя ни поправить, ни забыть; молодая женщина стала одинокой, как брошенная игрушка...

«А в моей жизни прибавилось одной продажной женщиной, и только!» – с болезненной грубостью подумал Мижув и сам почувствовал, как дрогнуло и исказилось его лицо.

«Я не имею права так думать!.. Может быть, она искренне любила!» – мысленно прикрикнул он на себя, стараясь заглушить вырвавшуюся мучительную фразу. На мгновение все спуталось в душе, но сейчас же Мижув почувствовал, что мысль не умерла, а только ушла внутрь и там, как тонкая змейка, прячущаяся под камнями, неуловимо скользит все глубже и глубже.

Мижув встряхнул головой; страшным, почти физическим усилием подавил воспоминания и долго ходил по набережной, без мысли, устало ворочая в душе какие-то бесформенные обрывки. А вечер все темнел, все глубже и спокойнее синело небо, ярче сверкали звезды над горами, и затихающее море легко и тихо вздыхало, точно засыпая.

«Если бы был хоть один человек, которому можно было поверить!» – вдруг подумал Мижув и вспомнил человека, с которым был близок еще в ту пору, когда жил весело, бросая деньги и мечтая о широкой творческой деятельности.

«Увидеть бы, поговорить», – с наивной ноткой подумал Мижув и улыбнулся размашистой фигуре знаменитого писателя Николаева, ярко вставшей перед ним в сумраке южного вечера.

– Ничего, брат, мы свое возьмем!.. Мы народ крепко-ой! – послышался ему полный удали и силы голос, забавно выговаривавший круглое волжское «о».

Сердце Мижуба вздрогнуло.

В это время, отбивая звонкий галоп, проскакали мимо женщина в амазонке, обтягивающей выпуклое тело молодой самки, и крепкий татарин с вытянутыми, как струны, мускулистыми ногами. Женщина отрывисто смеялась, изгибаясь в седле, татарин сохранял величественное самодовольство, и, мелькнув мимо, они смешались в сумраке вечера.

И машинально мысль Мижуба потянулась за этой женщиной: много таких были близки ему. В сливающийся туман прошлого почти непрерывной цепью уходили их русалочки глаза, точеные руки, выпуклые груди, тонкие талии и крутые бедра кобылиц. Они доставались ему легко, только стоили больше или меньше. Закрыв глаза, они бросались под золотой дождь, под которым расцветали и становились гладкими и блестящими, как хорошо кормленные пантеры.

И они давно уже перестали украшать жизнь Мижуба, и давно уже на их упругих грудях, на бархатном теле, среди вздрагивающих в муке страсти белых ног он оставался тем, чем и был, – одиноким, чего-то ищущим, тоскующим человеком.

Мижув пошел дальше, и одинокие мысли опять стали распутываться из огромного запутанного клубка. А навстречу один за другим, точно где-то прорвав преграду, уже катились экипажи с пристани. Виднелись лица, шляпы, картонки, баулы; мелькали и исчезали незнакомые новые глаза. Набережная, как живая, загудела и задрожала под непрерывным бегом колес. Мижув с отворачиванием смотрел на них.

«Сколько их... и кто их нарожал!.. Зачем!..» – брезгливо подумал он. И ему представилось какое-то колоссальное, мутное чрево, вздутое до небес вечной тяготой, из которого, Бог знает зачем, лезут, ползут, сыпятся и корчатся на земле миллионы уродцев, никому не нужных, никому не интересных.

Шум и гром, как лавина, потрясли всю набережную и так же быстро затихли вдали в улицах города. Экипажи катились все реже и реже, и опять стало слышно, словно на пустынном берегу, мерное и задумчивое дыхание моря. Мижув еще раз дошел до конца набережной, где ярко горела кофейня, набитая гомонящими красноголовыми турками, и повернул назад.

Ближе к городскому саду начали попадаться обычные гуляющие. Прошел офицер с молодой дамочкой, покачивающей своими гибкими обтянутыми бедрами, прошли два-три сытых господина с кроваво пламенеющими сигарами в зубах. Потом пробежала кучка звонких барышень, опашнувших Мижуева тонким запахом духов и легким ветром юбок, оглушивших смехом и говором. А потом встретился и знакомый старичок генерал, с узенькими бачками и широчайшими красными лампасами. С ним шла хорошенькая девушка, бросающаяся в глаза нежным румянцем и целомудренно строгим гимназическим платьем.

Увидав Мижуева, генерал заторопился и еще издали стал улыбаться и раскланиваться, слегка подволакивая правую ножку. Обыкновенно он боялся Мижуева и не подходил, когда тот был один, но теперь ему так захотелось блеснуть перед дочерью своим знакомством с миллионером, что он решился. Маленькая наивная гордость засияла у него в глазах и даже в голосе, когда он, развязнее, чем следовало, проговорил:

– А, Федор Иванович!.. Гуляете?.. Как здоровье?

– Здравствуйте, – ласково, но с незаметным для себя невольным высокомерием ответил Мижуев, небрежно приподнимая шляпу.

– Позвольте, – робея, но уже не Мижуева, как будто чего-то иного, представил генерал, – это вот моя дочь... Нюрочка.

Мижуев пожал теплую, совсем трепетную ручку. Она и вся была такая трепетная и теплая, как ранняя весна. И когда приподняла на Мижуева влажные темные глаза, он невольно улыбнулся ей. И она улыбнулась.

Пошли дальше втроем. Генерал суетился и молот какую-то чепуху, стараясь ободрить смутившуюся девушку и показать ей, что он с этим миллионером – свой брат. Сначала он даже стал без нужды фамильярен и после одной довольно неудачной шутки попытался слегка обнять Мижуева за талию. Но вовремя не посмел. Эта фамильярность не понравилась Мижуеву, и он стал холоден.

Девушка все краснела и не глядела на Мижуева, и ему были видны только ее маленькое ухо, пушистый локон волос и неуловимо нежный абрис розовеющей щеки. Шла она понурясь, точно ей было стыдно, и каблучки ее постукивали негромко и неуверенно. Когда генерал особенно неудачно острил, она еще ниже опускала голову и щеки у нее начинали гореть. Но когда Мижуев, невольно уступая желанию ободрить ее, уронил что-то смешное, девушка вдруг закинула голову с пухлым, как подушечка, подбородком и засмеялась. Мижуев посмотрел на этот подбородок: он был так чисто округлен и так нежен, что, казалось, если бы тронуть его пальцем, то почувствовалась бы одна теплота. И невольно стал он говорить ласковое и смешное, чтобы она смеялась.

Смеялась она как-то удивительно: вдруг зазвенит что-то и прервется; потом она прямо взглянет темными глазами, застенчиво улыбнется и делается серьезной-серьезной.

И как только она рассмеялась первый раз, Мижуеву стало весело, и вдруг ему понравилась эта парочка – и женщина-девушка, и сам добренький трусливый генерал, со своими широчайшими лампасами и неудачными остротами. Понравилось и то, что старичок называл ее «деточкой», а она его «папочкой». Это было наивно и хорошо.

Прошли через весь сквер, где уже сгущался пахучий синий сумрак и бродили уединенные парочки с негромким таинственным смехом и шепотом. Какая-то легкость, давно не бывшая, налетела на Мижуева, и он стал прост, разговорчив и весел. Начал рассказывать о своих поездках за границу, юмористично описал фигуру на вершине Хеопсовой пирамиды, а потом, чтобы стать ближе к девушке, вспомнил свои гимназические времена.

– Разве вы были в гимназии? – почему-то удивился генерал.

– Да. Нас воспитывали просто, да и средства тогда были скромнее.

Мижуев помолчал, вызывая картину забытой гимназии, и рассмеялся.

– А удивительные чудачки бывали у нас среди учителей!

– У нас тоже были... – отозвалась девушка.

– Как были?.. Разве вы не в гимназии уже? – спросил Мижув и с улыбкой посмотрел на нее. Ему стало приятно, что она уже «взрослая».

– Нет. Я уже кончила... давно... – тихонько ответила девушка.

– Ну, где же давно!.. – любовно засмеялся генерал. – Всего-то три месяца!

– Мне кажется, что уже Бог знает сколько времени прошло, – еще тише возразила девушка и совсем неслышно прибавила: – Сколько воды утекло.

– Вот как! – с комической важностью произнес Мижув, и ему захотелось просто взять и поцеловать ее в щеку. Так хорошо, чисто и сочно поцеловать.

Он посмотрел на нее внимательнее и увидел, что сначала она показалась ему гораздо моложе, чем была на самом деле. Сбоку ему были видны мягкие очертания груди, плечо, которое близко к нему было округло, и рукав платья упруго охватывал руку.

– Что же теперь?.. На курсы?.. – ласково спросил он.

– Не знаю... – чуть слышно ответила девушка и потупилась.

Генерал крякнул и неловко погладил бачки.

На минуту воцарилось молчание, и Мижув почувствовал, что коснулся больного места. Ему стало жаль их, и веселая мысль о том, что все это можно сразу устроить, родилась у него. Но сказать показалось неловко, и, чтобы прервать молчание и развеселить девушку, он опять начал о своих учителях.

– У нас был учитель математики... Такой толстый и важный, как директор департамента. Весь урок он ходил из угла в угол и проповедовал свою философию, которая вся состояла из одной фразы. Ходит по классу из угла в угол, вертит пальцами перед животом и говорит важно-преважно: «Есть фи-ло-софы... Есть труженики... А есть баловни судьбы-ы...»

– Вас, Федор Иванович, он, конечно, относил к баловням судьбы! – заискивающе захотел генерал и посеменял ножками.

– Н-да... Во всяком случае, тружеником меня трудно было считать.

– А философом? – лукаво заметила девушка и сконфузилась.

Мижув засмеялся и опять почувствовал желание обнять и поцеловать ее. Непременно в щеку и так звучно.

Но девушка опять потупилась. Легкой грустью все еще веяло от ее тонкой фигурки.

– Да... – заторопился Мижув, которому капризно захотелось, чтобы она не была такой молчаливой и грустной. – А то еще был у нас учитель географии... Высокий, худой как палка, которого звали «Макарон». Тот все показывал нам солнечную систему в лицах: сам он был Солнце, я обыкновенно изображал Землю, один маленький еврейчик – Луну и так далее. Солнце, сидя на корточках посреди класса, медленно поворачивалось, Земля бежала вокруг солнца, Луна во все лопатки попевала кругом Земли... Сначала все шло хорошо. Но потом все сбивалось, и происходила мировая катастрофа: Луна налетала на землю, Марс попадал головой в живот Юпитеру, и эта величественная планета неожиданно садилась на Солнце, образуя полный хаос.

Девушка вдруг закинула голову и зазвенела так беззаботно-весело, что сердце у Мижуева обрадовалось. Ему страшно Хотелось, чтобы она еще смеялась, и он стал болтать все, что приходило в голову. И хотя то, что он рассказывал, было очень пустячно, но болтал он с таким неподдельным комизмом, что выходило удивительно смешно. Раскрасневшаяся девушка уже поминутно смеялась, закидывая голову и показывая свой милый подбородок. Генерал хохотал до слез, и все встречные оглядывались на их шумную тройку.

– Был у меня знакомый дьякон в Самаре... Горький пьяница!.. Приходят к нему с какой-нибудь требой... Выходит дьяконица и таинственно сообщает: «Отец дьякон вас принять не могут!..» – «А что, разве – свыше?..» – «Свыше». – «А-а!..» И посетитель пресерьезно удаляется.

– Свыше! – хохотала девушка и уже смотрела прямо в лицо Мижуеву, с таким выражением, точно жадно ждала от него еще чего-то самого смешного.

А генерал шел сзади, прихрамывал и молчал. Замолчал он как-то сразу, и на сморщенном личике его выразилось что-то затруднительное. Его вдруг испугала такая неожиданная веселость и простота Мижуева. И в самой глубине души его зашевелилось смутное опасение. Он еще не высказал его себе, но это была робкая и бессильная птичья боязнь за свою чистую, нежную девочку.

«Богачи эти... – мелькнуло у него в голове, – ему ведь ничего не стоит...»

Представление о том, что может сделать Мижуев с его маленькой дочкой, рисовалось ему отчетливо, но было так страшно для него, что генерал боялся даже и думать об этом. Наготы и позора своей девочки мозг его не мог воспринимать.

– Нюрочка!.. Не пора ли домой... – неловко позвал он.

Девушка оглянулась удивленно.

– Еще рано, папочка!

Генерал смущенно забормотал. Личико у него было красное, глазки бегали совершенно нелепо. Мижуев тоже оглянулся на него и какими-то тончайшими изгибами мысли инстинктивно понял. Что-то тяжелое и давнее шевельнулось в нем. Сначала было больно, но вдруг тайная острая мысль сверкнула откуда-то из самой темной глубины: дать денег, увезти на курсы... Неровными, но яркими, как молния, зигзагами в воображении засверкало ослепительное, молодое, в первый раз обнаженное тело, трепетные наивные вспышки еще неопытного сладострастия... потом бешеный огненный акт. Он искоса против воли взглянул на девушку, и ему вдруг показалось, что она уже стоит нагая и он видит ее круглые голые руки, небольшую упругую грудь, мягкие пряди волос на голом плече. Что-то похожее на горячую волну ударило ему в голову, но сейчас же Мижуев опомнился.

А девушка смотрела на него и спрашивала что-то.

– Да, – отвечал Мижуев, чувствуя страшную радость, что это кошмарное видение исчезло. Ему страстно захотелось рассеять угадываемое в генерале опасение, стать простым, милым, равным.

«Ведь он прав, что боится меня, – со скорбью подумал он, – и я не виноват... Всякий другой на моем месте поступил бы так. Что ж...»

Со страшным трудом Мижуев опять отвел надвигавшуюся жадную и властную мысль, и ему стало грустно, безнадежно-грустно, точно он почувствовал силу сильнее себя.

И, поддаваясь этому грустному сознанию и теплomu покаянному чувству перед этой чистой нежной девушкой, Мижуев слово за слово стал говорить о своей жизни.

– Счастливы вы, – наивно щебетала Нюрочка, – вы везде можете побывать, все узнать, увидеть!.. Мы вот в первый раз в Ялте и то как в раю.

– Счастье не в этом, – грустно возразил Мижуев, – жить можно везде; живут люди и на Северном полюсе, живут на Камчатке и в Сахаре, и в Пинских болотах... И люди, живущие там, даже поднимаются до создания своей поэзии. Можно жить без пальм, без тепла, без больших городов. Это все чепуха... форма. Без одного нельзя только жить человеку: без людей. В одиночестве человек тупеет, слабеет, становится бессильным и ненужным.

– А мне кажется, я и в пустыне бы прожила, лишь бы цветы были, птицы, море...

– Это только кажется, – усмехнулся Мижуев, – человеку даны сложные и глубокие чувства... И чтобы наполнить их жизнью, нужно вокруг такое же сложное, тонкое и глубокое... Одним небом, деревьями да морями душу не оживишь... Сколько ни ездят, сколько ни смотрят...

– Да. Но у вас, верно, и людей кругом всегда сколько угодно... Ведь вы столько добра можете сделать, – робко заметила девушка. И раньше, чем он ответил на это, она почувствовала что-то такое, отчего сердце ее тихонько сжалось.

Мижув чуть-чуть покривил углы рта и вдруг показался ей каким-то массивным, тяжелым и большим.

– А! – горько проговорил он с внезапным порывом. – Добро!.. Когда каждый человек, который подходит к вам, только и приходит за этим добром...

– Не всякий же, – со странной и жалостливой торопливостью возразила девушка.

Мижув промолчал. У него в душе произошло нечто странное: стало страшно досадно, что говорит об этом перед какой-то девочкой, раскрывая свою душу; холодное чувство гордости легло на губы, а под ним хотелось хоть раз, хотя бы и некстати, просто высказаться. И последнее преодолело.

– Может, и не всякий, – с усилием выговорил он, – но когда люди только и приходят за тем, чтобы взять денег, то уже если и придет кто-нибудь так, просто, с открытой душой, все кажется, что это только так, а в глубине души ему надо того же... Что и он не пришел бы, если бы не мог взять денег. И уже настаживаетесь... Иногда такая инстинктивная злоба рождается, что и сам оттолкнешь, сделаешься грубым и жестоким... Это очень мучительно, право!

В голосе Мижуба вздрогнуло что-то, он опять покривил губы и замолчал. Стало очень тихо, и шум моря показался девушке одиноким и печальным. Она задумалась, и тысячи нежных, ласковых слов замелькали у нее в голове. С материнской нежностью, раскрывающей всю ее девическую, еще наивную душу, ей захотелось приласкать его, утешить.

Генерал с удивлением смотрел сзади на сутулую громадную фигуру Мижуба. Сначала он не поверил ему и даже смутно испугался еще больше: ему показалось, что Мижув притворяется несчастным, нарочно ради Нюрочки. Но потом старику стало стыдно этой мысли и жаль Мижуба, по-стариковски, с отеческой нежностью.

– Мне кажется... – тихо начала девушка.

Но порыв уже прошел. Холодное чувство взяло верх. Мижубу стало досадно своей откровенности перед такими, в сущности, ничтожными людьми, как какой-то отставной генерал и его дочь-гимназистка, которую он купить может. Это чувство было мучительно для него самого, и он сам сознавал его грубость, но все-таки стал высокомерен и холоден.

– Нет, это пустяки... – холодно перебил он и неожиданно заговорил о чем-то ненужном и неинтересном.

Девушка быстро взглянула на него, и лицо Мижуба было неподвижно и безразлично. Она внезапно побледнела и вдруг выпрямилась, стала смотреть прямо перед собой, и пальцы у нее задрожали от смутной, но большой обиды. Точно кто-то раздел и насмеялся над ней, над тем, что она открыла с чистым и глубоким желанием.

Генерал пытался утешить Мижуба, но вышло так некстати, что он смешался сам и понес какую-то чепуху.

Когда дошли до конца набережной, стало совсем неловко и пусто, и почувствовалось, что надо расходиться. Генерал ослабел и, не зная, как покончить, мялся, семенил и говорил уже окончательно неинтересные вещи о вечере, море, о ялтинской жизни. Мижув молчал и только изредка отвечал не глядя:

– Да, это верно...

– Видите ли, Федор Иванович... – начал опять генерал, но в это время дочь тихо потянула его за рукав и не глядя сказала тихо, но настойчиво:

– Пора домой, папочка... Мне холодно.

– Сейчас, сейчас, деточка... – заторопился обрадованный генерал. – Ну, до свидания, Федор Иванович, до свидания...

Он долго жал руку Мижуба и, чувствуя, что чего-то не хватает, не решался уйти. Девушка ждала молча, побледневшая, печальная. Ей было жаль всех – и себя, и отца, и Мижуба, и того светлого, хорошего, что было и ушло. Было жаль и на кого-то обидно до слез.

Только уже прощаясь, она на какое-то замечание отца коротко и слабо рассмеялась, закинув все-таки голову и показав свой нежный чистый подбородок.

В самую последнюю минуту что-то теплое шевельнулось в ней, и звенящим голосом она сказала:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.